



РОКОВЫЕ ЯЙЦА



Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу — почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно, вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жиловарищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире.

Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Фёдор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Чёрт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, извольте ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули, и вот — бельэтаж.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трёхном табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение

с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на подороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошёл в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а её прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов

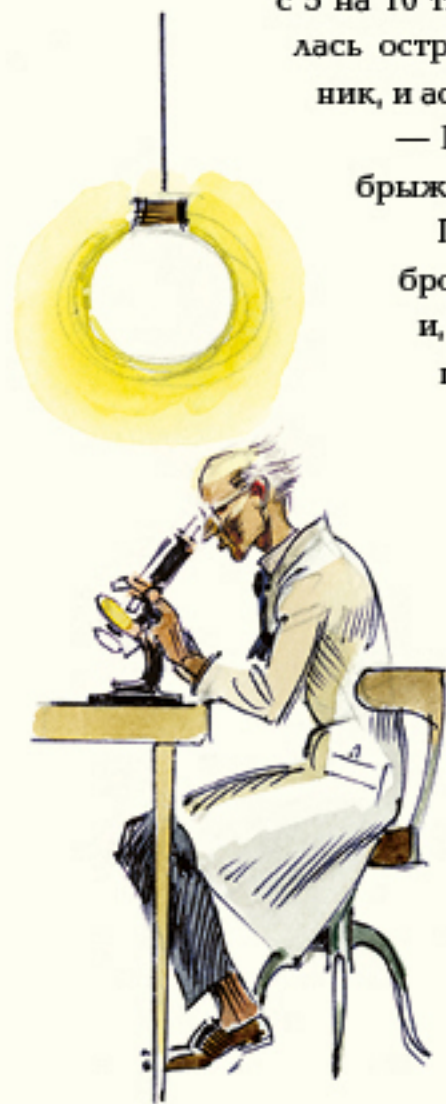
бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амёбах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба учёных перебрасывались оживлёнными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в её потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затёкшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потёр пальцами вечно воспалённые веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нём смутных бледных амёб, а посредине сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже



— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.
На карточке было напечатано изящным шрифтом:

**АЛЬФРЕД АРКАДЬЕВИЧ
БРОНСКИЙ**

Сотрудник московских журналов —
«КРАСНЫЙ ОГОНЁК»,
«КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ»,
«КРАСНЫЙ ЖУРНАЛ»,
«КРАСНЫЙ ПРОЖЕКТОР»
и газеты «КРАСНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

— Гони его к чёртовой матери, — монотонно сказал Персигов и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеёшься? — проскрипел Персигов и стал страшен.

— Из Гепею, они говорят, — бледнея ответил Панкрат.

Персигов ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал её пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком:

*Очень прошу и извиняюсь,
принять меня, многоуважаемый профессор,
на три минуты по общественному делу печати
и сотрудник сатирического журнала
«Красный Ворон», издания ГПУ.*

— Позови-ка его сюда, — сказал Персигов и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персигов таким голосом, что Панкрат мгновенно ушёл за дверь. — Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят, — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по



Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжёлые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался ещё кто-то гнилыми яйцами, — шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелёными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нём на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликёров:

**ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МОССОВЕТА — ОМЛЕТА НЕТ.
ПОЛУЧЕНЫ СВЕЖИЕ УСТРИЦЫ**



В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочинённые поэтами Ардо и Аргуевым.

*Ах, мама, что я буду делать
Без яиц?? —*

и грохотали ногами в чечётке.



Театр имени покойного Всеволода Мейерхола, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мейерхола, заслуженного режиссёра республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнажённым женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов,



змея Конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мучающаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидев ломящиеся вперёд, рассекающие расплётное варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует Конная армия! — кричали исступлённые женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!! давят!.. — выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя,



цепляясь за стремена и целуя их. В непрерывном стрёкоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли громадные цистерны-автомобили, с длинейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжёлые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками,



мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать набок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чём не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооружённых электрически-

ми револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

~ ГЛАВА XII ~ МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда ещё не отмеченный мороз. Он пришёл и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были ещё завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа! — возмущённо кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор!

— Ах, господа, господа!..

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка, — думал пёс, — но до чего хорошо! А на какого чёрта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавёлся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, моё счастье! А сова эта дрянь!.. Наглая».

Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звончки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь выпустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивлённо подумал пёс. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся чёрных волос, — вот по какому делу...





СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ



— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груди на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Хорошо спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из неё брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал её края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоём начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и жёлтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в неё комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые настенные часы.

щены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это кошмар!!

* * *

Ещё лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неопишное!.. Он говорит новое — слово «милиционер».

* * *

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того как прогнал репортёров, один из них пролез на кухню и т. д.

* * *

Что творится во время приёма! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

* * *

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8-го января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку — перемена гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечение (*подчёркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.



Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачёркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчётливо произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически,